

ИРИНА.. МУРАВЬЁВА



СОБЛАЗНИТЕЛЬ

Ирина Муравьева

Соблазнитель

«ЭКСМО»

2014

Муравьева И. Л.

Соблазнитель / И. Л. Муравьева — «Эксмо», 2014

В бунинском рассказе «Легкое дыхание» пятнадцатилетняя гимназистка Оля Мещерская говорит начальнице гимназии: «Простите, madame, вы ошибаетесь. Я – женщина. И виноват в этом знаете кто?» Вера, героиня романа «Соблазнитель», никого не обвиняет. Никто не виноват в том, что первая любовь обрушилась на нее не романтическими мечтами и не невинными поцелуями с одноклассником, но постоянной опасностью разоблачения, позора и страстью такой сокрушительной силы, что вряд ли она может похвастаться той главной приметой женской красоты, которой хвастается Оля Мещерская. А именно – «легким дыханием».

© Муравьева И. Л., 2014

© Эксмо, 2014

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Книга первая | 5 |
| Глава I | 5 |
| Глава II | 7 |
| Глава III | 13 |
| Глава IV | 20 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 29 |

Ирина Муравьева

Соблазнитель

Книга первая

Глава I

Дочке было семь лет, она уже месяц ходила в ту самую школу, где Вера была восьмиклассницей, а сам он работал учителем. И жена его, женщина молодая, с холодным и одновременно затравленным лицом, каждый день приходила забирать свою дочку после уроков и ждала в вестибюле, ни с кем не разговаривая, не вступая ни в какие обсуждения, а просто сидела, отстраненная, надменная и несчастная, как будто бы знала, что ей суждено всю жизнь глотать горькие слезы стыда. А раньше, до осени этой, была и веселой и нежной, любила смеяться, а тут вдруг – как заледенела.

Первого сентября они вместе с мужем привели в школу свою румяную, в огромных бантах, девочку, а шестого сентября муж признался ей в таком, что у нее остановилось дыхание. Вокруг была жизнь, и ходили, скользя по мокрой листве, загорелые люди, кричали и пели, и пахло арбузом, последние астры цвели на газонах, но все это было как будто не с ними, как будто они уже и не имели с простой этой жизнью своей прежней связи.

Так в чем он признался? Пойдите, не сразу. Конечно, на свете случается разное. И мало ли всяких страннейших признаний, и мало ли боли от этих признаний? Жена его, носящая чудесное имя Елена, за девять лет брака привыкла ко многому. Вернее сказать: он ее приучил. Он предупредил, что ей с ним будет трудно. Она не поверила, но согласилась. Пусть трудно, но только бы с ним. Она подбирала за ним его мысли, привычки и шутки, и все сохранялось внутри ее сердца, и там, в ее сердце, за все эти годы так много всего набралось, просто страшно. Коллекция целая, остров сокровищ. Она относилась к нему не как к мужу, законному спутнику и компаньону, а как к господину – слуга, как рабыня, хотя до него и до этого брака в ней не было даже следов унижения, тем более рабства. Откуда же рабство, когда она дочка отца-генерала, любимая дочка? Отец, правда, умер, но мать-то жива. А тут ее словно бы заколдовали. Ну, парень как парень, глаза голубые. И взгляд очень пристальный, в самую душу. Увидела и обмерла, заболела. Люблю, не могу без тебя, не могу. Хоть режь на кусочки, хоть жги на костре. Не хочешь жениться, я так могу жить. Но он почему-то женился, как будто и сам тосковал без семьи.

Когда после свадьбы он переехал к ним на Тверскую в прекрасную большую квартиру, где мать-генеральша только что сделала ремонт и поменяла мебель, так что теперь даже в кухне стояли обтянутые золотистой парчой стульчики, а полог у материнской кровати был просто музейным, и днем этот полог, присобранный в пухлые складки, с трудом продевали в кольцо ярче золота, – когда он переехал из своего костлявого и облупленного Нагатина в эти ослепительные покои, и матери-генеральше, и самой Елене сразу стало ясно, что ему не только наплевать на все это, но даже немного мешает. Он как-то сказал, что любовь их с Еленой зачахнет внутри золотистого плюша, поскольку любви нужен лес и дорога, а если уж золото, то натуральное: к примеру, пшеница, шумящая в поле.

Но и мать, поначалу высоко вскидывающая брови при виде его не снятых после дождя и уличной грязи башмаков, и робкая до удивления Елена, с лицом то испуганным, то восхищенным, молчали. Он часто просил ее:

– Дай мне, Елена, побыть одному. Я подумать хочу.

Она не мешала. Она подчинялась, как будто ее воспитали не в школе, не в детском саду, не в советской семье, а где-нибудь в монастыре, на отшибе, на севере Франции средневековой, откуда она вышла кроткой, но сильной, не знающей жизни и одновременно готовой к любым испытаниям судьбы.

– О чем он там думает, детка? Не знаешь? – шептала ей мать.

– Нет. Откуда я знаю?

– Одни выкрутасы, – шипела ей мать. – Наплачемся мы. Вот увидишь, наплачемся.

Его «выкрутасы» она тоже знала. Они заполняли их ночь, и Елена стремилась к тому, чтобы он был доволен ее этим белым податливым телом, и не пресыщался ее восхищением, и не уставал от ее поцелуев. Она уже знала, что делать, как делать, она исполняла любые желания. Сначала с испугом, потом с иступленной и нежной готовностью. Любовь, даже рабская и бестолковая любовь молодой, очень преданной женщины к мужчине, которым она так гордится, всегда придает ее внешности блеска. Елена цвела, она переливалась, и к ней приставали другие мужчины, которые думали, что раз такая, то, может, и выгорит. Не выгорало.

Они прожили почти девять лет, оба окончили университет, родили дочку с широким лицом, как у матери, и отцовскими глазами, голубыми и выпуклыми, назвали ее Василисой в честь деда (а дед был Василием). Мать-генеральша опять побелила везде потолки и вскоре купила ковер, правда, дорого, но очень уж он подошел им по стилю.

Заканчивался еще по-летнему теплый, но уже не по-летнему темный вечер, окна были открыты, и к ним во двор стекались проститутки, потому что с самой осени тысяча девятьсот девяносто девятого года именно их двор был местом собрания этих отбившихся от честной и правильной жизни девчат. Они повисали на детских качелях, свободных, поскольку детишки все спали, сидели вокруг тускло-серой песочницы, дымя сигаретами и матерясь, а парни, плечистые, крепкие парни, всегда молчаливые и безразличные, глядели на них из машин, подзывали, и девушка шла так, как будто не знает, зачем подзывают и что теперь будет, а после садилась в машину, и юбка ее задиралась почти до трусов. Присматривали за любовным хозяйством два славных сержанта: Сережа и Саша; им все доверяли, и Саша с Сережей, устав от надзора, бывало, ласкали во время дежурства, не отлучаясь, какую-нибудь из невыбранных девушек: им тоже хотелось вниманья и неги.

Итак, заканчивался вечер, дочка спала, а они стояли на кухне в полутьме, и он, глядя на нее в упор своими выпуклыми глазами, сказал, что работать учителем в школе ему очень трудно. И все объяснил. Другая женщина, наверное, закричала бы, или ударила его по небритой щеке, или бросилась бы под золотой полог к родной своей матери, чтобы и мать вскочила, крича, проклиная и плача, но наша Елена не сделала этого. Она опустила на стул, побледнела при этом так сильно, что и полотенце, которым они вытирали посуду, казалось румяным в сравнении с нею. Ни рук и ни ног больше не было, словно их кто-то отрезал без боли и крови.

– Не знаю, что делать, – сказал ее муж, – смотрю на нее, а все мысли такие, что... Невмоготу.

– Ты что, извращенец? – спросила она.

– Нет. Впрочем, не знаю.

– Зачем ты сказал мне об этом? За что?

– Скрывать от тебя ничего не хочу.

И он замолчал.

С этого вечера их пути разошлись: Елена отправилась в ад, в лютый холод, а он поселился повыше, в тепле. В аду пахло кислым железом и рвотой, и рядом сновали какие-то тени, наверное, подруги ее по стыду. Муж, голубоглазый, с открытой душой, жил дома и спал на одной с ней постели, но ей стало страшно ночами с ним рядом.

Глава II

Вере было шесть лет, когда она впервые почувствовала любовь. Она жила на даче с бабушкой и многочисленными бабушкиными родственниками, а мама, оставшись в Москве, боролась то с папой, то с кем-то за папу, и в этой борьбе была вся ее жизнь. И тут к ним на дачу приехал Володька. Он тоже был чьим-то, наверное, родственником. Его поселили в садовом сарайчике. Она его помнила даже сейчас: прыщавый, скуластый и тощий Володька был на удивление легким и ловким. Он словно не шел, а летел. Летая на клумбами и над дорожками, засыпанными лепестками жасмина, он много смеялся и шутил на солнце свои небольшие припухшие глазки. Она уже знала, что кончится лето и он пойдет в армию.

Бабушка, страдающая за маму, нелепо влюбленную в мужа, который ее то терзал, то бросал, то снова терзал, а то снова бросал, в то ясное утро сидела на лавочке, и рядом с ней был узкоглазый Володька.

– Вернешься из армии, будешь работать. Найдешь себе барышню, может быть, женишься...

Она говорила, не думая, просто желая сказать что-то очень приятное.

– На Верочке вашей женюсь, – засмеялся визгливо Володька, – пойдешь за меня?

Ей было шесть лет, а она покраснела, как взрослая женщина, вся запылала. Потом сняла ленту, и волосы сразу посыпались сверху на голые плечи. Она послушав палец и быстро пригладила брови, как делала мама.

– Давай догоню, – предложил ей Володька.

Игра началась. Вера бегала быстро, а этот веселый тщедушный Володька, не подозревавший, какие сюрпризы ему заготовила жизнь, хохоча, летал за ней по аккуратному саду, поскольку он сам был почти что ребенок. Он вырос в семье хоть и бедной, но строгой. Догнав, он схватил ее сзади за локти, потом вдруг подкинул, как будто она была то ли куклой, а то ли мячом.

– Сказал «догоню», и догнал, – он смеялся, но вдруг, посмотрев на нее, перестал. – Ты плачешь, Веруська? Тебе что ли больно?

Она, шестилетняя, плакала горько. И он испугался.

– Ты что?

– Что-что? Ничего. Я устала!

Володька пожал в удивлении плечами. Пошел по тропинке, усыпанной свежим, скользким жасмином, к террасе, откуда их звали обедать, где бабушка уже разливала зеленые щи по белым глубоким тарелкам.

Веру уложили спать, как всегда, в половине девятого, но она не спала, и сердце внутри ее детской груди то громко стучало, то вдруг замирало, а то начинало вскипать, как вскипает малина в тазу, когда варят варенье. Станные, дикие желания одолевали ее. То ей хотелось выпрыгнуть из окошка, и прямо как есть, босиком, побежать к Володьке, в сарайчик, и честно сказать, что ей бы хотелось пойти вместе с ним, куда он прикажет. И в армию тоже. Она представляла, как он удивится, но тут же обрадуется, засмеется, облизнет свои малокровные губы и крепко обнимет ее. Ах, как крепко! А то ей хотелось его ущипнуть, а может быть, даже ударить. Все тело ее как-то странно гудело.

На следующее утро Володька уехал, и Вера его постепенно забыла. А через два года, тоже летом и тоже на даче, бабушка вдруг спросила ее:

– А помнишь Володьку?

Она покраснела, и бабушка тихо сказала:

– Он умер.

– Его что, убили? – спросила она.

– Да нет, не убили. Хотя как им верить? Сказали, что умер от кори, и все. Теперь не вернешь. Погубили парнишку. Такой был простой. Ты, конечно, не помнишь. Играл с тобой в салочки здесь, хохотал...

И бабушка вытерла слезы ладонью.

Известие о Володькиной смерти сначала испугало Веру, но потом ей стало казаться, что она никогда и не знала никакого Володьки, никогда он не приезжал к ним на дачу, не ночевал в садовом сарайчике, не бегал за нею по этим дорожкам, ее не подкидывал в воздух, как куклу, не зная, что Вера его полюбила, не зная, что жить оставалось два года, не зная, зачем он пришел сюда в виде прыщавого и говорливого парня, а скоро уже уходить, улетать и вновь становиться бессмертным и вечным.

В восьмом классе в школе появился новый учитель английского языка и английской литературы. Фамилия у него была, как у композитора: Бородин. А звали Андреем Андреевичем. Он был молодым, говорил резким басом, глаза его ярко синели на солнце. Старшеклассницы начали волноваться и подводить веки. Колени их нежно скрипели чулками, и звук был похож на морской звук ракушек, когда их потрешь ненароком рукою. Про Андрея Андреевича тут же стало известно все или почти все. Он был женат, и у него была семилетняя дочка. Пришлось рассмотреть эту дочку придирчиво. Обычный ребенок, косички, носочки. Потом рассмотрели жену. Одета небрежно, лицо, как у этой... да, как ее? Древней? Ну, у Нефертити. Такие же губы, глаза, нос и уши.

И кто-то сказал:

– Да он ее бросит и не оглянется! Хотите поспорим?

Но спорить не стали: и так было ясно, что бросит. Станный был взгляд у Бородина: он устремлялся в самые зрачки собеседника, словно для того, чтобы собеседник сдался, не выдержав этой загадочной силы. Потом он свой взгляд отводил и при этом немного бледнел.

– Почему у тебя такая странная фамилия: Переслени? Ты что, итальянка? – спросил он у Веры.

Она была самой красивой из всех и самой худой, но при этом насмешливой.

– Нет, не итальянка.

– Тогда почему?

– Я точно не знаю. Мой, кажется, прадед приехал из Швеции.

– Из Швеции? Прадед?

– А может, прапрадед.

И Вера блеснула глазами. Тогда он сказал:

– Ты меня обманула.

– Я вас обманула? Да как я посмела?

– Ты любишь обманывать, – он усмехнулся. – Зачем, я не знаю. Наверное, для этого были причины.

Ей вдруг показалось, что он понял все. И сразу же стало не то чтобы стыдно, но весело и хорошо на душе.

Она была лгуньей, но не потому, что в этом искала какой-нибудь выгоды, а лишь потому, что судьба ее с детства сложилась так странно, что ей было легче, когда посторонние в душу не лезли.

Отец ее, Марк Переслени, считался талантливым драматургом, но из всего написанного им только одна пьеса шла на малой сцене Художественного театра и большого успеха не имела. Он рано встретил ее мать, очень быстро женился на ней, родилась сероглазая девочка Вера,

которую он не успел даже рассмотреть как следует, потому что на седьмой день после родов переехал обратно к своим родителям, сославшись на то, что младенческий крик мешает работе. Несколько раз в году его засасывала тоска, от которой Переслени однажды прыгнул из окна, в другой раз топились и даже пытались повеситься. К счастью, а может быть, для того, чтобы продлить его испытания, ни одна из попыток не увенчалась успехом: прыжок закончился многочисленными переломами, из воды его вытащили и путем искусственного дыхания вернули к жизни – обратно на твердый песок, под синее небо, и он поразился тому, как сверкает поверхность реки, а внутри ее толщи – теперь-то он знал – был беззвучный, и белый, и страшный своей белизной туман. А что до веревки, так, может, он сам совсем не хотел умирать, закрепляя на шее своей эту хилую петельку. Короче, немного как будто играл.

Игры эти были опасными, но, надо думать, необходимыми, потому что как только тоска его доходила до своего пика и пик завершался попыткой смерти, он тут же вдруг и становился спокоен. Да мало сказать, что спокоен. Нет, счастлив и весел почти до восторга. Как преступник, освобожденный из тюрьмы, торопится в дом свой обнять всю семью, коня потрепать по загривку и снова, весь бешеный от наступившей свободы, с зарею уходит туда, где ждет его прежний разгул, и гуляет и пьет, – вот так же отец ее, словно боясь, что жизнь скоро кончится, вновь устремлялся навстречу случайным знакомствам и связям. При этом его дарованье бурлило, и он по неделям ночами не спал, а все сочинял, умилялся и плакал.

Внешность его была и не такой уж привлекательной, если разобрать ее по косточкам: у него были слегка оттопыренные уши, широкие губы, и он курил трубку, поэтому кожа его и одежда впитали в себя глубоко запах дыма. Но бедные женщины не замечали ни этих ушей, ни больших этих губ, и запах табачный их гипнотизировал. И, как на базаре факир подчиняет себе бледноглазую, томную, с жалом, пропитанным ядом и смертью, змею, так он подчинял себе каждую женщину. К тому же ведь женщины как насекомые: они только кружатся, жалят, жужжат, трясут волосами и бедрами вертят. И даже когда с высоты прямо в снег, не выдержав голода, ветра, мороза, комочком замерзшим летит воробей, и блещут сугробы, тверды, будто мрамор, отчаянных женщин ничто не пугает. Они так же бедрами вертят, как летом.

Отцовская жизнь от наличия женщин была полна соком, как спелое яблоко. До новой тоски и до нового страха.

Из-за такой весьма непростой и нервной ситуации в семье ребенок был брошен на бабушку с дедом. Бабушку Вера скорее терпела и побаивалась, а деда, умершего, когда ей исполнилось тринадцать, любила всем сердцем, ни разу ни в чем ему не солгала. Мама, вдруг приехавшая домой на такси поздно вечером, вся запорошенная снегом, в слезах, набрасывалась ураганом, и Вера от страха лгала своей маме, желая, чтобы ураган этот стих.

– Я завтра с тобой, послезавтра с тобой, – задыхалась мама, осыпая ее поцелуями и сквозь слезы всматриваясь в ее смущенное и испуганное лицо. – Ты от меня отвыкла? Я вижу: отвыкла. Но все! Я решилась. С отцом мы разводимся, я возвращаюсь, и едем с тобой в Коктебель, – ты ведь помнишь, мы были с тобой в Коктебеле? Давно? Когда тебе было два года? К отцу твоему не вернусь никогда. Ты веришь мне, Вера?

И дочь отвечала ей с той неизменной фальшивой готовностью, звуки которой способны разрушить любую привязанность:

– Конечно, я верю.

– Спасибо, моя золотая, родная, моя ненаглядная, умная девочка! – И мама, прижавши к губам ее руку, опять заливалась слезами. – Я знаю, что веришь! Увидишь, вот так все и будет!

Вера отлично знала, что «так» ничего не будет, но для того, чтобы тяжелая сцена закончилась, она обнимала несчастную маму, шептала, что просто мечтает, как мама вернется домой насовсем и летом возьмет ее в отпуск. Но тут раздавался в столовой звонок, и мамин красивый щебечущий голос всегда говорил одну фразу:

– Зачем? Зачем ты меня беспокоишь? Зачем?

Потом хрупкий голос ее обрывался. Отец надсадно хрипел в телефон, как Высоцкий. Он ждал, пока мама, вздохнув полной грудью, задаст ему вечный вопрос:

– Обещаешь?

Услышав отцовское «да, обещаю», она надевала потертую шубку и таяла в воздухе. Мама уезжала обратно к отцу, в большую писательскую квартиру рядом с Третьяковкой, где отец жил один, похоронив многострадальных своих родителей, которые сошли в могилы, не дожив даже до семидесяти. Любимый сынок и его биография способствовали их уходу, конечно. Но мама о горьких примерах не помнила. Нельзя было маме не лгать.

Бабушке тоже не стоило знать той правды, которую Вера слышала от деда во время их длительных прогулок вдвоем по Большой Пироговской и прилегающим к ней переулкам. Правильно ли вел себя дед, доверяя двенадцатилетней девочке взрослые переживания, трудно сказать. Может быть, и неправильно. Но деду было одиноко, друзья его умерли – кто от чего, а девочка эта, с такими глазами, как будто она понимает не только им произнесенное, но даже больше, вдруг стала единственной сильной поддержкой его обесцвеченной старческой жизни. Прежде, когда она была маленькой, они бродили подолгу и больше молчали, только перебрасывались короткими фразами, а за два месяца до его смерти, случившейся в мае, дед почти каждый вечер просил ее выйти с ним в скверик и посидеть на лавочке, потому что было уже тепло, и медленно гасли в весеннем солнце купола Новодевичьего монастыря, и пахло землей, жадно освобождающейся ото льда и снега, и птицы кричали так громко, как будто им только что выдали тайну, и каждая, даже невзрачная птица, не будучи в силах хранить эту тайну, старалась как можно быстрее услышать, что думают все остальные об этом.

– Конечно, жена. И хорошая, верная, – рассказывал дед, – я к ней очень привык. Но я ведь ее никогда не любил. Любил я Тамару. Да, очень любил. Ты знаешь, ведь я не хожу на могилу. Сказать почему?

– Почему?

– Потому что душа моя с ней до сих пор.

И он замолкал, погружался в себя, почти забывая о Вере.

– Она умерла молодой? – шептала ему осторожная Вера.

– Она умерла молодой. Диагноз они не поставили. Сказали, что сердце. Да, сердце. Сначала они говорили, что грипп. Потом – воспаление легких. Потом, уже в самом конце только, – сердце. Пришел частный врач и сказал: «Это сердце». И мне говорит: «Я кладу ее в клинику». Но он не успел, и она умерла.

– Зачем же потом ты женился на бабушке?

– Ну как? Полагалось жениться. Но Томка! Она попадалась мне часто, все время. Еду однажды на своем «Москвиче» за троллейбусом и вижу: она! Стоит у окна в серой кроличьей шапке, читает какую-то книжку. Я еду, кричу ей: «Тамара! Тамара!» Она не услышала, книжку закрыла. И я сразу понял ошибку. Похожая женщина, это бывает.

Вере было двенадцать лет, а дед был старик, зачем-то доверивший ей свои тайны. Поэтому бабушке Вера врала, а когда дед умер и бабушка в сотый раз принималась рассказывать, какая была между ними любовь и как она вспыхнула с первого взгляда, то Вера глаза отводила, молчала.

Итак: ложь была, много лжи. Как много воды на земле: рек, озер.

Когда этот новый учитель уставился на нее голубыми глазами и вдруг побледнел, она даже не удивилась. На нее часто заглядывались в метро и на катке, она знала, что похожа на маму, а от мамы было не оторваться. Теперь нужно было закрепить за собою эту победу и одновременно утереть нос всем выскочкам, которые без стыда без совести крутили перед ним своими выпуклыми задами и шурились так, что смотреть было тошно. Развратная Танька, у которой

мать заведовала сразу тремя скупками на трех разных рынках и все приводила к себе мужиков и даже в мороз прогоняла ребенка, а именно Таньку, гулять, и потом замерзшая Танька стояла в подъезде и грела свои красно-сизые руки, которые были такими холодными, что даже не чувствовали поначалу тепла батареи, – развратная Танька сказала, что ей соблазнить педагога – минутное дело. Никто ей не верил. Никаких ухажеров и любовников у самой Таньки, разумеется, не было, да и ни у кого из них не было никаких любовников, но всем не терпелось скорее попробовать, и все целовались направо-налево, кто с кем. Кто с командировочным возле гостиницы, кто с братом подруги, кто с теткинским мужем, но дальше таких затяжных поцелуев не двигалось, хоть ты умри. Они были – школьницы, в школе учились. И брата подруги могли посадить, и командировочных тоже могли – на то есть статья Уголовного кодекса.

– Переслени, – сказал Вере Андрей Андреич Бородин, – не шведская фамилия. Я это проверил.

– Вы что, шпионите за мной? – спросила она.

И он удивился с таким простодушием, как будто бы был не учителем в школе, а честным и правдолюбивым подростком.

– Шпиону? Зачем?

– Так что вам за дело до этой фамилии?

– Ты всем так грубишь?

– Я вообще грубиянка. – Она засмеялась.

– Ты очень красивая. – Сердце ее застучало так сильно, что Вера отступила на шаг, боясь, что он услышит. – Да. Очень красивая, – он побледнел.

– Вы тоже, – сказала она, задохнувшись. – Хотите, скажу почему?

Тогда он вдруг захохотал. Схватился руками за оба виска и стал хохотать очень громко и грубо.

– Ну все! Я пошел. Я работы лишусь!

– За что? – прошептала она. – За меня?

И он оборвал странный хохот.

– Конечно. Сама, что ли, не понимаешь? Конечно.

Она опустила глаза:

– Нас увидят, – сказала она.

– Да, увидят, – вторил он. – Но, может быть, это судьба.

Она испугалась, что скажет нелепость и этим его навсегда отпугнет. Стояла, кусала припухшие губы.

– С кем ты целовалась? – спросил он.

– Ни с кем.

– А что ж тогда губы распухли?

– Не знаю. Наверное, просто кусаю их часто.

– Какая ты сильная, – вдруг он сказал, – сильнее меня. – Звонок оборвал его речь. – Ну, все. Мне пора, – прошептал ей учитель.

Они пошли рядом по коридору и вместе вошли в класс. Шестым уроком была английская литература. При виде вошедших школьницы заерзали на стульях. Теперь оставалось одно – ждать и ждать. Расколется этот секрет, как орешек, и выскользнет ядрышко, темное, сладкое. Терпенье, подруженьки! Ждать вам недолго.

– Сегодня, – сказал учитель английской литературы Андрей Андреевич Бородин, – я хочу рассказать вам об очень странной женщине. Вы все говорите: «Цветаева, Цветаева!», а о поэте Эмили Дикинсон, которая была американкой, даже и не слышали.

Он вытащил из рюкзака, заменявшего ему портфель, выдранную из книжки фотографию молодой и тускловатой девушки в большом белом воротнике и пышном платье. Девушка была причесана на прямой пробор, букли окружали ее вытянутые щеки, как гроздь сирени.

– Эта женщина писала гениальные стихи, их почти невозможно постигнуть. Все слова написаны с большой буквы. Ну вот, поглядите: «Тьма. Я Хочу. Но Я не Знаю, Слышишь ли Ты Мое Сердце».

Школьницы «8 А» покрылись колкими мурашками. За Андрея Андреича хотелось умереть. Пойти и сложить в поле голову. Порозовевшие лица, включая скуластую грубую Таньку, тянулись к нему так, как утром растения с доверчивой жадностью тянутся к солнцу.

Учитель остановил свой взгляд на Вере Переслени:

– Сколько бы ни копались в жизни Эмили Дикинсон и какие бы ни выдвигали гипотезы, я лично уверен в одном: ее поэтический гений родился из отроческой любви, которая не могла закончиться браком. Эта девушка в пятнадцатилетнем возрасте влюбилась в пастора, а пастор влюбился в нее. Вот и все.

– Дела! – простонала всей грудью Татьяна и руки прижала к щекам. – И где ж они... это... Встречались-то где?

– Встречались во снах, – сказал жестко учитель, – он снился Эмили каждую ночь. Она ему снилась, наверное, не реже.

– Так разве же это любовь? – не сдавалась привыкшая к стонам родной своей матери и к скрипу ее матраца веселая Танька.

– Да, это любовь, – отрубил Бородин. – Читайте стихи и услышите сами.

Наивный человек! Неужели он не догадывался, что стихи ничего не говорят девушке, пока в ее робких и бледных сосудах, в мозгу, в животе и под тонкими ребрами не вспыхнет вдруг новое солнце со звездами и не народится иная вселенная, в которой не будет ни школы, ни дома, ни ночи, ни дня, ни сестры и ни мамы, а будет лишь тот, чья рука или даже нога, скажем, в лыжном и грубом ботинке, чей взгляд исподлобья, чей голос охрипший заставят звенеть ее девичью душу и целую жизнь подожгут так, как хворост.

– А что этот пастор, – спросила вдруг Вера, – ведь он же мог просто жениться на ней?

И взгляды их пересеклись.

– Жениться? – он оторопел. – Как жениться? Он пастор, она прихожанка. Их знают.

– И что? – Переслени вздохнула: – Подумаешь!

– Что значит «подумаешь»? Маленький город, и все на виду...

– Ну подумаешь, город! – сказала она. – Вы стихи почитайте.

И он стал читать, даже в книжку не глядя:

Когда дрожит Небо —
Это Твоя Душа ищет Мою
В Сугробах больших Облаков
И находит.

И Вера ему улыбнулась испуганно, как будто он к ней прикоснулся всем телом.

Глава III

Дома Андрей Андреич близко подошел к Елене, своей жене, и в самое ухо ее продышал:
– Я что-то совсем не справляюсь с собой. Ты знаешь, о чем я. Ты знаешь?
– Да, знаю.

Да, странной была их семья, необычной, и мать-генеральша, прожившая с мужем почти сорок лет, повидавшая всякого, понять не могла, почему ее дочь, красивая, очень неглупая, честная, как будто прилипла вся к Бородину: чуть только потянешь ее слегка в сторону, она упирается, не поддается, – да хоть ты всю кожу сними с нее, хоть все волосы вырви, она не уступит!

Еще до свадьбы Андрей Андреич, совсем молодой паренек, сказал своей широкоскулой невесте, что он никогда не потерпит обмана.

– Я буду с тобой откровенен во всем. И ты со мной тоже. А если полюбишь кого-то, скажи. Тогда у нас будет достойная жизнь.

*– Но мы же... Андрюша... ведь мы же друг друга... – она растерялась и вся запылала.
– Сейчас – да. Друг друга. Но это – сейчас.*

Прошло девять лет.

– Ты влюблен в ученицу?

– Ее зовут Вера, – сказал Бородин.

Паркет закачался под бедной Еленой. Она ухватилась руками за стул.

– И что теперь делать?

– А я сам не знаю, – он вдруг усмехнулся. – Тупик, вот и все.

– Ей сколько? Пятнадцать?

– Пятнадцать. – И он помрачнел. – Что с того?

– Тебя ведь посадят, – она ужаснулась. – Раствление детей. Ты ведь сядешь пожизненно.

– А я буду ждать, – он опять усмехнулся, – сейчас ей пятнадцать, но будет шестнадцать.

– Да лучше б ты умер, – сказала она.

Какие, однако, прекрасные женщины ходили когда-то по нашей земле! И как их терзали мужья, предавали коварные слуги, казнили отцы! Узнает какой-нибудь римский патриций, что дочку недавно сманили в христианство, так он сгоряча и отрубит ей голову.

Елена могла быть примером достойной жены. Она рождена была, чтобы супругу украсить земную юдоль, чтобы вместе пройти испытания и насладиться взаимной любовью, и дружбой, и верностью. Случись ему быть декабристом, она бы, в собольем салопе и теплом платке, обнявши родных и друзей напоследок, в Сибири морозной, заросшей лесами, наполненной каторжным людом и сбродом, нашла бы в себе и смиренность, и силу, растила бы деток, играла Шопена, а в праздник кормила бы, как полагается, весь сброд этот сдобами и калачами. Да что декабристы! А вот вы возьмите другие примеры. Читали вы повесть «Авдотья Рязаночка»? Напрасно, что вы не читали, прочтите. Жила себе скромная баба Авдотья. И вдруг наступило татарское иго. Широкое поле с пиеницей и рожью, луга заливные со всем их цветеньем, леса с легкокрылыми бойкими птичками, короче: природа окрасилась кровью. И что же Авдотья? А вот что. Авдотья, рискуя собою, пошла прямо в крепость, татарскую и неприступную крепость, просить, чтобы хан отпустил ее мужа, и сына, и брата, и зятя из плена. Пошла, повязавшись суровым платочком, и шла целый год. Исколола все ноженьки.

Однако же я увлеклась, чтобы лучше представить читателю образ Елены. Она, уверяю вас, не уступает ни в чем этой смелой и доброй Авдотье.

Шло время, но жизнь словно остановилась. Как будто бы в самой ее глубине рассыпалось главное, и вся поверхность растрескалась, сморщилась и потускнела. Хотелось дышать, но дышать было нечем, хотелось уйти, но уйти было некуда, хотелось решиться на что-то, но это желание было опасней всего. Вера Переслени перестала посещать уроки английской литературы. Несколько раз Андрея Андреича и Веру видели разговаривающими на автобусной остановке, причем говорил Бородин, а Вера стояла, внимательно слушая. Однажды она наврала, что подвернула ногу, ее отпустили к врачу, а потом видели из окна, как она вышла из здания школы и быстро, нисколько не хромя, пошла по направлению к Новому Арбату, а через пятнадцать минут в том же направлении заспешил и Бородин, на ходу обматываясь шарфом.

И вдруг разразилась беда. Васенька попала под машину. Генеральша, крича и рыдая, дозвонилась Андрею Андреичу, и он на такси помчался в больницу, куда только что была без сознания доставлена Васенька. Как это могло случиться, что, переходя за руку с Еленой дорогу в Малом Неопалимовском переулке, она вдруг выпустила материнскую руку и, радостная, устремилась вперед? Потом оказалось – подружку увидела. Шофер не успел даже притормозить. Его самого без сознания вынесли.

Ни Бородин, ни Елена, жена его, ни ее мать, – скажи им кто-то заранее, что в понедельник утром, когда сыпал на Москву легкий и праздничный снег, похожий на тот, который сыпется на сцене Большого театра во время любимых балетов и опер, что в это утро им суждено будет увидеть свою девочку, свою эту крошечку, славную, кроткую, увидеть ее в синяках и в крови, и медсестра будет просить их отойти, не мешать, не трогать ребенка, не поправлять безжизненно откинутую набок голову, которая как-то ужасно дрожала, когда ее быстро везли на каталке, – скажи им такое заранее кто-то, смогли бы они после этого жить? Васеньку увозили по длинному больничному коридору, чтобы приступить к операции, и все это было так срочно, так жутко, что генеральша не успела даже позвонить своей подруге, полковнику медицинской службы, занимающей высокий пост в министерстве, и попросить эту подругу со странным для полковника именем «Одетта», чтобы та послала лучшего хирурга, – нельзя было ждать ни минуты.

Странное свойство имеет любое несчастье, и не знаю я, замечали ли вы, дорогие читатели, это свойство. А состоит оно в том, что если заранее сказать человеку, через что ему суждено пройти, то страх охватит этого человека с такой силой, что станет он просить у Бога смерти, лишь бы не испытать положенного ему судьбою. Но, Господи, слава Тебе! Поскольку когда наступает несчастье, оно принимает размеры души того человека, которому послано. Несет каждый только свой крест. Именно так и произошло с Андреем Бородиным, женой его и матерью жены. Несчастье обрушилось сразу на всех, расплющив троих и слепив что осталось в одно существо. Они повторяли друг друга: шептались, потом замолкали, потом пили воду. Но так продолжалось недолго, и снова они разделились на разных людей.

За шесть часов в голове Бородина не проскользнуло ни одной сколько-нибудь связной мысли. Он чувствовал, что виноват. Вина была не в том, что он был плохим отцом, а в том, что за три последних месяца он ни разу не подумал о себе как об отце. Он вообще не думал о себе без того, чтобы тут же не представить рядом Веру Переслени, и в этом он был виноват перед Васенькой.

Узнав, что врачи приступили к работе, вдова генерала внезапно заснула. Она, человек очень слабый и робкий, забилась, как зверь забивается в чашу, в спасительный сон. Лицо ее было и детским, и старым, помада, оставшаяся на губах, вдруг приобрела лиловатый оттенок.

Елена сидела между мужем и матерью и крепко держала их за руки. Она вцепилась левою своею рукой в руку Андрея Андреевича, а правую – в руку матери. Пальцы Бородина были ледяными, и от этого левая ладонь Елены тоже стала остывать, в то время как правая – разогрелась и вспотела в руке матери. Лена не замечала, что плачет, но слезы лились и лились по ее распухшему лицу, отчего оно стало еще шире, и сходство с Нефертити, давно замеченное многими, полностью исчезло.

Через три часа к ним вышел ярко-рыжий, маленький и веснушчатый человек, под бледно-зеленым халатом которого шарами вздувались огромные мускулы.

– Спасли вашу дочку, – сказал он устало. – «Спасли» в смысле – жизнь. А дальше что будет, сказать не могу. Закрытая черепно-мозговая травма – вот о чем речь. Переломы ног – это в ее возрасте ерунда, срastутся. А голова – другое дело.

– Что значит «другое»? – спросил Бородин. – Калеккой останется?

– А я не знаю, – ответил ему мускулистый. – Не знаю. Пророчить не буду.

Что-то разорвалось внутри Бородина. Он вдруг ощутил всем своим существом, что если сейчас не вернуть его Васеньке ее эту детскую прежнюю жизнь, то он не посмеет приблизиться к Вере. До Веры ли будет! И в эту секунду Елена, жена, обмякшим и форму теряющим телом сползла вдруг к ногам его с тем безразличьем, с которым сползает подтаявший снег с карнизов домов.

– Обычная вещь – спазм сосудов, обычная, – сказал быстро врач. – Все пройдет, посадите, водички ей дайте, большая нагрузка. Вам скажут, что дальше. Пока подождите.

Елена открыла глаза и странную, дикую фразу сказала:

– Чтоб только жила. И можешь уйти. Ты свободен.

Он много раз вспоминал эти ее слова, и холодный пот прошибал его: неужели они одновременно подумали об одном и том же? И так же, как это бывает, когда в адской темноте тоннеля вдруг сталкиваются на полной скорости поезда и мертвыми падают со своих неудобных высоких стульев машинисты и в груде железа, обломков и криков уже не понять, что случилось, – вот так и они столкнулись во тьме наступившего горя с одною и той же бессильной попыткой: пожертвовать тем, что дороже всего. Как будто бы каждый из них спохватился и вспомнил: ведь есть что отдать! Возьми – за ребенка. А дочку не трогай. Оставь ее нам. Елена его отпускала, а сам он, – хоть вслух ничего не сказал, – содрогнулся, когда вспомнил школьницу: не подойду.

Они умоляли не Бога, а идола, к которому – о, как давно – обращались задолго до живописи, режиссуры, до музыки, до магазинов, до денег свирепые, мрачные, дикие люди. И если бы кто-то подслушал их мысли, открыл бы грудную их клетку, увидел, что там происходит: внутри и в крови, какая идет там нелепая сделка, то страх охватил бы того человека, а может быть, даже презрение к ним.

Целый месяц, пока Васенька не поднялась с больничной кровати, не начала потихоньку передвигаться и не прошло так испугавшее их и насторожившее врачей косоглазие и дрожание левого зрачка, ни Бородин, ни Елена не говорили между собой ни о чем, кроме того, что касалось девочки. Елена почти безотлучно находилась в больнице, поскольку Одетта, полковник медицинской службы и близкая подруга генеральши, устроила для Васеньки отдельную палату. Спала там, на кресле, и ела на кресле, и даже халат надевала больничный, когда становилось темно за окном. Нужны были деньги, и мать-генеральша сняла свою люстру, которая так украшала их дом, и люстру купила другая подруга, супруга дантиста, на даче которой как раз не хватало одной такой люстры.

Андрей Андреич Бородин не мог позволить себе долгого перерыва в преподавательской работе и начал опять приходить на уроки, и ставил отметки, и что-то рассказывал, но все в школе знали, что дочка учителя висит между жизнью и смертью. Все вдруг изменились, все стали скромнее, умнее, отзывчивей, не раздражались, и девушки-девятиклассницы даже не красили век, не скрипели чулками.

Иногда он, забывшись, останавливал неподвижно-голубой взгляд на школьнице Переселени, и тут же темнели глаза, наполнялись паническим страхом, как будто он видел не девочку Веру, а черта с рогами. Сразу после уроков Бородин ехал в больницу, сдавал в раздевалке пальто, надевал белый халат со следами чужой застиранной крови и, не дожидаясь лифта, прыгал через ступеньки старой каменной лестницы наверх, на четвертый этаж. Если Васенька спала, то жена его Елена обычно лежала в ногах своей дочки и тихо дремала. Бородин замирал в дверях, и эта картина, которая открывалась его глазам с самого порога, снова и снова впечатывалась прямо в мозг, и сегодняшнее изображение, когда Елена, скажем, прикрывала глаза ладонью правой руки, накладывалось на вчерашнее, когда ладонь ее правой руки поглаживала истончившиеся и почти прозрачные пальчики спящей Васеньки, соединенные между собой так, как их соединяют покойникам: одним хрупким веером маленьких косточек на веер других, столь же хрупких и нежных. Он стоял на пороге, и душа его начинала привычно кровоточить в то время, когда происходило это своеобразное наложение одной картины на другую, сегодняшнего – на вчерашнее, вчерашнего – на позавчерашнее и так далее, до тех пор, до того самого первого дня, когда Васеньку перевели из реанимации в эту палату, и тут же Елена над ней распростерлась, и тут же застыла, и тут же срослась с ней.

Он бросал рюкзачок у стены и садился на стул рядом с кроватью. Жена его приоткрывала глаза. Прежде, когда она смотрела на него, взгляд ее сразу же становился взволнованным и начинал блеснуть, как будто в него опускался огонь не видимой людям звезды. Сейчас взгляд Елены был тихим, тоскливым.

– Ну, что она? Как? – говорил Бородин.

И Елена начинала тусклым, крошащимся голосом рассказывать ему, как прошли эти сутки, сколько шагов удалось сделать Васеньке с поддержкой матери и сколько без поддержки, что огорчило врача и что его порадовало в Васенькиных последних снимках. Она говорила монотонно и невыразительно, словно выполняла свой долг перед тем человеком, который был отцом ее ребенка и, стало быть, имел право знать всю правду.

Она была женщиной сильной и честной, и он это знал.

Вернувшись вечером домой из больницы, он видел похожие перемены в лице и поведении генеральши. И она, так же как ее дочь, опускала глаза, стараясь не встречаться с ним взглядом, быстро и аккуратно подавала на стол, зная, что он не задаст ни одного вопроса, откуда вся эта еда, даже фрукты, а он словно бы не хотел даже знать, как ей удастся поддерживать дом. Он просто садился и ел все подряд, потом говорил ей «спасибо», шел в спальню и сразу ложился.

Оглядываясь на закрытую дверь комнаты, генеральша торопливо набирала номер супруги дантиста и быстро, скосившись на дверь, говорила, что ей надоели те самые бусы, которые, помнишь, ты очень просила, а я не хотела, а вот разглядела, что мне эти бусы совсем ни к чему, у Лены – свои, и там жемчуг крупнее, а я уже старая, шея в морщинах, так, если ты хочешь, я их подвезу. Подруга, которая все понимала и знала, что денег взаймы или «так» ни Лена, ни мать ее просто не примут, кричала в ответ ей, что именно эти, ты знаешь, что именно эти вот бусы нужны позарез, и, конечно, возьму, ведь мне идти в гости, и этот твой жемчуг такое спасенье. Прежде, до того, как случилась беда с Васенькой, они жили совсем неплохо, потому что генеральша получала пенсию за своего покойного мужа, а Елена давала частные уроки английского языка и учеников у нее было хоть отбавляй. Зарплата, которую приносил домой равнодушный к быту Андрей Андреич, составляла самую скромную часть их семейного бюджета, но ведь от него ничего и не ждали, вернее, Елена ничем не хотела ему

докучать. Теперь, когда их отношения стали другими, и все девять лет опустились на дно, подобно какому-то судну, с которого успели спастись пассажиры, однако, барахтаясь в бурной и грязной воде, никто из них не был уверен, что выживет, – теперь было стыдно жалеть просто вещи и переживать за ничтожные мелочи. Погруженный в себя Бородин не знал, что пустеет шкапулка, где теща хранила свои украшения, и даже того не заметил, что люстра куда-то исчезла. Теперь вместо люстры висела уныло какая-то желтая чешская лампа, вполне из советских нехитрых времен.

Но главное – он не знал той душевной работы, которая шла и шла внутри его жены Елены, отчего она постарела и стала опускать глаза свои всякий раз, когда он с привычною выпуклой зоркостью смотрел на нее.

Ни одна женщина не удержалась бы от того, чтобы не воскликнуть в порыве отчаяния и не задать Богу вопрос, который не имеет никакого смысла, но люди не понимают этого и никогда не поймут, сколько бы им ни объясняли. Вопрос этот даже и не задается, он словно бы сам разрывает все горло и, выйдя наружу из тела, горячий, кровавый и страшный, растет вместе с криком, слезами и стоном, поскольку он редко бывает беззвучным и редко бывает бесслезным и кротким.

«За что? – ужасалась Елена. – За что? Она же ни в чем еще не виновата!»

Прошло несколько дней, и, сидя неподвижно у кровати Васеньки или забываясь чутким сном в ногах ее, Елена начала чаще и чаще возвращаться к этому вопросу и сама искать ответ. Трудно ведь согласиться с тем, что нет прямых причин и следствий внутри человеческой судьбы и сложен узор ее, непостижим. И так не бывает, что ты вопрошаешь и ангел сейчас же тебе отвечает. Сам думай, слепой человек, сам ищи.

«За что? – повторяла она диким шепотом и гладила нежные плечики Васеньки, столь тихие и беззащитные плечики, что бедной Елене хотелось кричать и выть, как собака, и биться о стену. – За что? Объясни мне. За что Ты ее?»

И тьма стала вдруг раздвигаться, как занавес. Его это предупредили, его. Здесь – девочка, доченька, там – тоже девочка. Вся ее девятилетняя любовь к этому голубоглазому человеку, весь восторг, который она испытывала от каждого слова его, теперь обжигали стыдом, было страшно, когда он опять вырастал на пороге.

«Да, он извращенец, – шептала Елена, – он, может быть, даже преступник, насильник, а я и не знала! Когда он пришел и сказал, что его измучили гадкие эти желания...»

Рвота подступала к горлу. Елена закрывала лицо руками, и в темноте ее сомкнувшихся ладоней глуховатый голос Андрея Бородина начинал звучать так отчетливо, словно весь Андрей Бородин, сжавшись до размеров кузнечика, помещался внутри: «Она уже женщина, взрослая женщина, и пахнет как женщина... Я не могу... Скрывать от тебя ничего не хочу...»

«Нужно было тогда бежать от него! – думала Елена. – Нужно было гнать его в три шеи! А мне показалось, что он просто честен и что все другие, которые так же, как он, это чувствуют, просто боятся признаться, боятся сказать! А он вот такой необычный и искренний, и сам – как ребенок: признался во всем... Я думала, это пройдет, подожду...»

Теперь она знала, что ни минуты не сможет жить с ним вместе, в одной квартире, и спать на одной постели, и есть за одним столом. Но что делать с Васенькой, как сказать маме? То, что маму удар хватит на месте, Елена не сомневалась. Выросшая в простой и трудолюбивой семье и вышедшая замуж за честного лейтенанта, дослужившегося до генерала сухопутных войск, пускай грубоватого и не читавшего ни Гейне, ни Гете, ни Байрона с Фетом, ее кареглазая мама была простодушной, как девочка. Любила и дочку, и внучку без памяти. Советскую власть сперва очень любила, и как рассказали о всех злодеяниях и всех преступлениях против народа, и как переехал в Москву Солженицын, она даже плакала от огорчения, но после смирилась и вытерла слезы. Теперь она скажет Елене: «Я чуяла, чуяла! Чужой человек. Он – чужой человек.

И я говорила тебе, что отец – он грудью бы встал, а тебя не пустил! Отец бы его раскусил за версту и сам бы нашел тебе честного парня, хорошего, *нашего* парня, а этот...»

Однако Елена боялась не матери, не слез материнских, не даже insulta, хотя генеральша страдала давлением, как все располневшие добрые женщины. Что с Васенькой будет? Андрею Андреичу Бородину можно было предъявить все что угодно, вплоть до постыдных извращенческих побуждений, но нельзя было отказать ему в нежном и заботливом отношении к Васеньке, которое сказывалось не в том, что он любил, скажем, кататься с ней вместе на санках с горы, а в том, что он Васеньке столько рассказывал, читал с нею книжки, смотрел с нею фильмы, и Васенька папе во всем доверяла, ждала, пока папа проснется, в субботу и сразу бежала к нему на кровать, садилась, в своей полосатой пижамке, на папину грудь, щекотала его, и оба смеялись: он – глухо, отрывисто, она – колокольчиком, светлым и чистым.

Елена склонялась над спящею дочкой и руки сжимала до боли. Как дальше жить с мужем, который так грешен? Ведь Бог и ее тоже предупреждает! И она повторяла и повторяла себе, что, как только Васенька выйдет из больницы, нужно собраться с духом и сказать Бородину, что они должны расстаться, потому что не только находиться с ним под одной крышей она не может, но даже и просто представить себе, что он где-то рядом, ей невозможно. Он, разумеется, смолчит и сразу же начнет собирать вещи, чтобы уйти, и тут вдруг появится Васенька. Зрачки у Елены расширились. Она видела, как девочка ее, худенькая, с неокрепшими после переломов ножками, спрашивает, куда это папа уходит. И что ей сказать?

Четырнадцатого декабря, в ночь со среды на четверг наступило полнолуние.

Много, много всего знают земные существа об этом страшном небесном явлении и боятся времени, когда оно происходит. Тревога съедает всякого, порою и не слишком чувствительного человека, а что говорить о чувствительных людях! Сколько приличных отцов семейств выбросилось из окон по всему миру, включая даже веселую Бразилию, сколько заботливых матерей вцепились белыми от теста руками в волосы дочерей своих и принялись выдирать эти волосы с такою силой, что слезы потекли из глаз девишек, не чувствующих за собою никакой вины и даже еще не беременных вовсе от каждого встречного и поперечного?

Однако никто, уверяю вас, не боится полнолуния больше, чем санитары «Скорой помощи», сумасшедших домов и медперсонал венерических клиник. Про «Скорую помощь» понятно: число внезапных инсультов, инфарктов и просто сердечно-сосудистых кризисов во время луны этой, мрачно горящей в седых небесах, возрастает так мощно, что бледные до желтизны доктора, третий день не спавшие и вторые сутки не евшие, даже и электрокардиограмму больному не делают, чтобы не терять даром времени. А просто запихивают несчастного в кузов машины и мчат его прямо в больницу: скорее сдать в руки другого, такого же бледного, желтого доктора. Что касается нервного диспансера, то в нем дежурят не три сестры на отделение, как это принято в обычные дни, а четыре или даже пять, причем выбирают самые выносливые, закалившиеся еще при Андропове, когда не принято было сюсюкать с пациентами и им улыбаться сквозь редкие зубы. И поверьте, что даже и впятером эти сильные женщины не могут справиться с теми, на которых особенно действует притяжение луны, ибо больные начинают плакать, вспоминать умерших и строить громоздкие планы на будущее. Нечего и говорить про клиники для излечения венерических заболеваний. Картина в них кажется мне пострашнее, поскольку и сами болезни ужасны. И много их, много их, этих болезней! А уж пациентов и вовсе не счесть! А все почему? Потому что в тревоге от полной луны, ее белого света, они повступали в случайные связи и ждут самых стыдных для жизни последствий.

Есть, говорят, и хорошие стороны полнолуния, но смешно их даже сравнивать с плохими, смешно и неловко. Уверяют, например, что в полнолуние везет виноделам. И в карты везет им, и даже с любовью. За что, почему им везет, непонятно. На редкость удачливыми

оказываются также и те, которые выходят на сбор крабов и моллюсков. Крошечные эти существа по своей природной доверчивости охотно вскользают в сачки, банки, сети, стараясь поближе прижаться телами к венцам мирового творения, к людям, наивно надеясь, что те их спасут.

Но самое главное все же не в этом. Сбываются сны полнолунные, вот что. И тот, кто увидит свой сон в этот час, тот может считать, что ему предсказали судьбу и не ошиблись ни в чем.

Итак, в ночь с тринадцатого на четырнадцатое декабря измученная Елена заснула в ногах своей худенькой Васеньки, и тут посетил ее сон, а уж в небе такая сияла луна и глазами такими глядела на наш этот мир, что я бы, увидев такие глаза, не стала бы лезть больше в космос, желая его покорить для неведомых целей. А ну как он нас покорит, ненасытных? И что тогда делать?

Во сне Елена увидела, как они с мужем гуляют в чужом тропическом лесу, полном дикой растительности и таком звучном, как будто бы это не лес, а оркестр. Однако темно, и осторожная Елена стала упрашивать Бородин вернуться, пугая его наступлением ночи, а он по своей привычке ничего не отвечал и только отмахивался. Лицо его было таким ярко-бледным, как будто он болен и скоро умрет среди этих ярко-мясистых растений.

– Андрюша! – сказала Елена. – Давай поскорее вернемся обратно. Кто знает, что там, в темноте этой чащи?

– Там змеи, – вдруг забормотал Бородин. – Там змеи одни, больше нет никого.

– Они ядовитые? Господи Боже! – вскричала Елена. – Андрюша, бежим!

– Да поздно бежать, – отвечал Бородин и вдруг закатал до колен свои брюки.

Елена с ужасом увидела, что вместо ног у ее мужа черные и сильно пахнущие костром деревяшки. Она обмякла и прислонилась спиной к дереву.

– Мересьева помнишь? – спросил Бородин.

– Какого Мересьева?

– Мне кажется, звали его Алексеем, – сказал он задумчиво.

– Летчика, что ли? – спросила Елена.

– Плясал на столе, – объяснил Бородин, – безногий, чечетку выстукивал. А польку и вальс танцевал лучше всех.

– Откуда ты знаешь? – удивилась Елена.

– А правды не спрячешь, – сказал Бородин.

Сон ее был особенно страшен тем, что они разговаривали в нем так же просто и отчетливо, как разговаривали бы в жизни, но их разговор был таким, словно оба они потеряли рассудок.

– Я буду летать, – он продолжил. – Увидишь.

Елена помнила, что это был сон, и тщетно пыталась проснуться, но черно-мясистые тропики всеми шипами, цветами, усами своих мокрых трав так вцепились в нее, что даже дышать стало трудно. Тем временем муж вдруг куда-то исчез. Елена привстала на цыпочки: он живо скакал на своих деревяшках, подобно большому самцу кенгуру, бросал ее в джунглях на верную гибель.

Васенька захотела пить и сказала: «Мамочка!» Елена мигом вскочила, дала дочке самодельного лимонаду и снова устроилась у нее в ногах.

Глава IV

Дом, в котором жила старшеклассница Вера со своей бабушкой и изредка – мамой, потому что мама навещала не каждую неделю, а ночевать оставалась все реже и реже, был в десяти минутах ходьбы от метро «Спортивная». Это была громоздкая сталинская постройка с большим, заросшим липами и кленами двором. Зимними ночами покрывались слегка синеватым льдом голые и обездоленные деревья, отчего двор сразу становился хрустальным, и хрупким, и словно молящимся, поскольку не все его ветви глядели на землю, а некоторые замерзли причудливо, поднявши вверх свои длинные пальцы. Лифт в доме часто не работал. Но ужасно не то, что он не работал, а то, что он застревал между этажами, и в крошечной, позвякивающей железными цепями темноте висели в потухшей кабинке почти задохнувшиеся пассажиры, крича голосами, похожими часто на тонкие птичьи и на комариные. Никто, однако, не спешил им на помощь, потому что редко открывались двери квартир, жители были по большей части старые, неуклюжие, несколько даже пугливые. И те, которые висели в темноте кабинки, хотя и вылезали, в конце концов, живыми, румяными, в полном рассудке, но потрясения не выдерживали и многих потом выносили из дома, накрытых простынками и неподвижных. Соседи печально смотрели из окон, но мысль, что и их понесут точно так же, пока что не всех посещала. А странно. Верину бабушку, сильную, но полностью сосредоточенную на материальных ценностях, эта мысль не посещала никогда. Бабушка словно и не подозревала, что она умрет, и, судя по своей властности, намеревалась жить вечно. Так думал любой, кто с ней соприкасался, а ведь ошибался. На то мы и люди. Воспитав дочку в уважении к семейному достоинству и, главное, верности (да, это главное!) – и видя теперь, как ее надувают, и как она плачет, и как она бьется, и как Переслени калечит ей жизнь, просила несчастная бабушка Бога, чтобы Он забрал ее лучше к Себе, лишь только не видеть бы этих страданий. Однако потом она вдруг вспоминала, что ей с высоты будет только сподручней вести наблюдение за Переслени, а что уж касается Лары – тем более. А стало быть, там ей покоя не будет.

– Ларочка, ты такая привлекательная, – повторяла она дочери, – за тобой столько ухаживали и будут ухаживать. И предложения у тебя будут и...

– О Господи! Я не могу!

Дочь хватала любой бесполезный предмет, вроде нитки, свисавшей со стула, и, всю эту нитку зачем-то себе намотав на мизинец, глаза поднимала на мать:

– Не могу-у-у!

– А ты вот смоги! Вот другие-то могут!

И спор обрывался.

Напрасно, однако, запутавшаяся в жизни Лариса Генриховна не прислушивалась к тому, что ей говорили. Тем более кто говорил? Мать родная. Ведь именно она и заметила перемену в поведении Веры, и совпала эта перемена как раз с появлением во дворе совершенно посторонних людей, к тому же иностранцев. Сборная бригада, составленная силами трех стран: Турции, Сербии и Болгарии, занялась ремонтом их прочного, немного угрюмого дома. Зима была в самом разгаре, но солнце слепило как будто весною, и не привыкшие к русскому холоду приезжие, поначалу отчужденные и молчаливые, постепенно вошли во вкус своей работы, бойко стучали, таскали, бурили и красили синею краскою стены. При этом уже говорили: «привет», «а мне запахло», «послал бы тебя» и «Европа».

Жители сталинской постройки отнеслись к усатым и кудлатым чужим паренькам с почти материнской заботой.

Есть определенная душевная странность в русском народе: с одной стороны, привык русский человек очень ругать иностранцев и обзывать их, например, совсем некрасивыми словами, вроде «черножопые» или «косоглазые», но, с другой стороны, есть и какая-то сентиментальная, до странной слезливости даже, внезапная к ним расположенность, как будто вот хочется вдруг обогреть, к груди своей щедрой прижать паренька, хоть он «черножопый», хоть он «косоглазый». Загадочны мы и весьма необычны.

Наблюдательная бабушка Переслени сразу заметила, что с появлением во дворе чернорусых и чернобородых рабочих ее драгоценная внученька стала какой-то развязной и нервной при этом. Откуда же было понять ей, что Вера, худой, золотоволосый подросток, вообще на них не обратила внимания? Ее-то ведь мучило только одно: *он* что, разлюбил меня? *Он* разлюбил? Когда одичавшая взрослая женщина, уже и лицо подтянувшая дважды, поскольку оно начинало сползать, воскликнет, поднявши глаза к облакам: «Как так – разлюбил?» – ее можно понять. Прошла золотая пора, хризантемы в саду отцвели, и акация тоже. Но девочка в самом рассвете своей едва распустившейся женственной силы должна бы у мамы спросить и у бабушки совета в таком деликатном вопросе. И мама, а также и бабушка Вере должны были бы объяснить, что учитель, во-первых, не пара ей, а во-вторых, забудь поскорее, что он там болтал, бессовестный и безответственный, надо его посадить за решетку, и все, а ты еще, дурочка, уши развесила! А если он вновь к тебе сам подойдет, то я тогда сразу в милицию, слышишь?

Поэтому Вера молчала как рыба, и молча терзалась, и плакала только, когда была дома одна или ночью. Лариса Генриховна кружилась, вертелась, сама хуже девочки, сдергивала и надевала на указательный палец левой руки серебряное кольцо с массивным желто-черным балтийским янтарем, что говорило о том, что она находится на пределе сил, но сдаться не может и будет бороться. Да, мама кружилась, вертелась, дрожала вокруг центра маминой слабой вселенной – мужчины, отца ее дочери Веры, который ничем не участвовал в дочери, вернее сказать, в воспитании дочери, а только мог ей передать свои гены, которые лучше держать при себе.

С бабушкой было еще неуютнее, чем с мамой, именно потому, что бабушка никуда не отлучалась. Насколько мама была рассеянна и далека, настолько близка и сосредоточенна была бабушка. Временами она так въедливо смотрела на Веру, как будто хотела залезть ей под кожу. Но Вера крепилась. В самом начале осени, когда этот ни на кого не похожий Бородин вдруг так изменил ее жизнь, что скрыть эти перемены было невозможно, и случалось, что Веру охватывали и восторг, и страх, и отвращение ко всем, особенно к мужчинам, и дикая нежность к родным, и желанье сейчас же, сию же минуту увидеть его, а потом умереть, и пусть он придет на могилу с цветами, и пусть все увидят, как он будет плакать, и ляжет на землю, и будет смотреть часами на памятник, где фотография (а взять лучше ту, где она в красном платье!) – когда это все подступало, и бабушка, с испугом прислушиваясь к бормотанью и шепоту вместе с русалочьим смехом, стояла под дверью, не зная, что думать, то разве могла она хоть на минуту расслабиться и задремать над вязаньем? Конечно же нет, не могла, не дождетесь.

Спросила:

– Над кем ты, Веруся, смеешься?

На что ей Веруся никак не ответила.

А вскоре такие дела наступили, что бабушка выпила всю валерьянку, и валокордин, и пустырник, и ношпу. Теперь Вера не улыбалась, а молча как будто бы вся уходила под лед, и темно-зеленая с черным вода, живущая там, подо льдом, становилась уже не водою, скользящей и сильной, а твердым, как кость, продолжением льда. И так с каждым днем: глубже, глубже и глубже. Вростала в себя, все в себя, все в себя. Она застывала.

И бабушка, женщина властная, сильная, во всем, как всегда, обвиняла Ларису:

– Но как же? Ведь люди живут и без *этого*! Ты правда не можешь? – и хмурила брови.

– Без *этого* я не могу, – отвечала ее эта блудная, бедная дочь.

Представить себе, что и Вера идет по шатким следам материнским, равнялось тому, чтобы взять и поджечь свой собственный фартук, а с фартуком – волосы. Возникнет боль адская и нестерпимая. Поэтому бабушка не обобщала и насмерть боялась любых обобщений. Зато она к слову сказала Ларисе, что Вера, похоже, больна, как отец. Такие же вот настроения мрачные, депрессия, слабость, и нужно лечить.

– Когда ты заметила? – дочь побелела.

– Да месяца два уже, если не три, – ответила мать.

В институте имени Бурденко у миловидной, хотя и замученной жизнью с Марком Переслени Ларисы Генриховны работал друг ее детства и юности профессор Аксаков, Иван Ипполитович, когда-то давно проживавший с ней рядом, в соседней квартире. Их роман, полный огромных букетов сирени и крохотных букетиков ландышей, которыми десятиклассник Ваня Аксаков забрасывал Лару Пospelову, продолжался всего один месяц, когда во всю силу цветет и сияет сирень, кружа головы и Подмосковью, и даже чванливой столице, но ландыши ей не уступают в своей популярности. Ваня Аксаков обломал сирень со всех дачных участков Загорянки, где он готовился к выпускным экзаменам. С Ларисой, заваленной этой сиренью, они целовались под запах ее, как люди целуются только под музыку. Дальше поцелуев дело не пошло, поскольку (сказала же я!) шли экзамены, и Лара готовилась на философский, а Ваня большими шагами спешил в объятья родной медицины, отставшей слегка от прогнившего Запада. Любовь их завяла, увя, оттого, что хитрый и наглый юнец Переслени заметил Ларису на Чистых прудах. Наставшее утро застало их вместе, уже, разумеется, не на прудах, а на Воробьевых горах, где бывает, что и удается приткнуться в кусты и там провести свою первую ночь. Веселый невыспавшийся Переслени пел прямо с колен бывшей девушки Лары, поскольку лежала его голова как раз на коленях ее в это утро.

Я встретил девушку,
Па-а-а-лумесяцем бровь,
На щечке-е-е родинка,
А в глазах лю-ю-ю-бовь...¹

И Лара смеялась и плакала горько. От счастья ведь плачут, не только смеются.

Ваня Аксаков, в прилипших к его потной спине лиловых соцветьях – сирень осыпалась, – звонил и звонил, а Ларочка не подходила. Тогда он, все с той же сиренью в руках, и в тех же ее лепестках на спине, и с запахом той же сирени под мышками, примчался к ней в город.

Вот говорят: детские травмы, детские травмы. Все в мире, включая и взрывы, и бомбы, и их испытания на побережьях, – все только от этих ребяческих травм. А я возражаю: неправда! Вернее – неполная правда, не вся. Пускай ты уже не в пеленках, горячих от свежей твоей, родниковой мочи, пускай тебе даже не три, не четыре, а все восемнадцать – и что? Разве легче? Напротив – ты хуже ребенка, слабее, и травма твоя может так повернуться, что жизни не хватит, чтоб справиться с нею.

Именно такая травма, определившая судьбу будущего профессора и заведующего кафедрой нейрофизиологии и знаменитого во всем мире ученого, ждала Ивана Ипполитовича Аксакова в момент, когда Лара Пospelова, с распущенными и переброшенными на правое плечо ярко-золотистыми волосами, порывисто открыла ему дверь. Она открыла ему дверь, и он сразу

¹ Песня Р. Бейбутова на слова М. Турсун-Заде (пер. Г. Регистана).

увидел, что это не она. К такой, какую она была сейчас, когда стояла перед ним, наматывая палец на одну из своих отбившихся ото всех остальных волос прядей и словно бы вся задыхнувшись от бега, к такой незнакомой и невероятной, такой ослепительной Ларе Поспеловой Аксаков Иван не имел отношения.

– Ах, Ванечка! Ты! – прошептала она.

Она прошептала, как будто и не было ни этой сирени, ни ландышей белых, ни их поцелуев, ни их разговоров, ни даже того, что и мама Ивана, сама педиатр, к тому же известный, всегда говорила, что Лара Поспелова родит ей когда-нибудь внука и внучку. И мама (к моменту тому, значит, бабушка) начнет и лечить этих пухленьких деток от разных болезней.

Она так сказала, и он отступил. И он – о, бедняга! – случайно взглянул ей прямо на грудь под цветастым халатиком. И сразу почувствовал, что эта грудь была нынче ночью в каких-то ладонях. И кто-то ее и сжимал, и давил, кусал ей соски и дышал своим ртом в ее лучезарную плоть. Лучезарную! Поскольку он, Ваня, не смея коснуться и пальцем груди ее, только однажды увидел, насколько она лучезарна. Случайно, невинно и непреднамеренно. Лариса снимала свой мокрый купальник, стояла спиной за кустом и немного склонилась налево, сдирая с плеча бретельку какую-то. Он и увидел. И был ослеплен, ошарашен, раздавлен. Сверкнуло в кустах что-то, словно крыло недавно рожденного ангела, словно стыдливая лилия из тростников, короче, сверкнуло какое-то чудо.

– Ванечка, – быстро и нежно, как ребенку, сказала она, – мы больше не можем встречаться.

– Не можем? – спросил он разорванным, жалобным голосом.

– Не можем, – ответила твердо Лариса. – Я, Ваня, люблю одного человека.

Он бросил сирень на порог и ушел. Потом была свадьба. Он видел, как Лару жених ее вынес, всю в белом, воздушном, и так, на руках, нес до самой машины. А Ваня стоял и смотрел из окна.

Никто, даю вам слово, ни одна живая душа не подозревала, что почти сорокалетний, очень породистой внешности профессор Иван Ипполитович Аксаков не полюбил после этого ни одной женщины или девицы. А все потому, что была эта травма. Она его как пополам разрубила: была жизнь *до* Лариной свадьбы и *после*. Иван Ипполитович избегал женщин, но, будучи умным и дипломатичным человеком, не давал им возможности уличить себя в этом. Он просто дружил с ними так, как с другими. В конце концов, есть ведь мужчины, собаки, старухи и птицы, не только ведь женщины. Работа поглощала его целиком, и действительно то, что Иван Ипполитович открыл в очень запутанной и туманной области нейрофизиологии, не подается никакому, даже и самому благодарному перу. При этом случались, конечно, и связи. Из области чистой и грубой телесности. Сходился без всяких букетов, подарков, без слов и без дрожи. Сходился и брал. Но только в том случае, если знал точно, что дело не пахнет любовью и нежностью. Потом забывал, как ножом отрезало.

Первые годы учебы во Втором медицинском он старался как можно меньше сталкиваться с Ларисой Поспеловой, которая так и не стала философом, потому что у нее времени не хватило поступить на этот слишком серьезный и не нужный простой девушке факультет. Да и сама Лариса не стремилась поддерживать отношения с прежним возлюбленным, поскольку вся жизнь ее в браке была несчастливой, загубленной жизнью, и Ванечка все это знал. На то была мама его, педиатр, которая, с грустью взирая на сына, дружила с суровой Линой Борисовной. А Лина Борисовна не собиралась скрывать от всего человечества правду о зяте своем, драматурге, мерзавце.

После окончания аспирантуры и двухгодичной стажировки в Лондоне блестяще образованный, с аккуратной бородкой вокруг доброжелательного лица Иван Аксаков купил себе квартиру на Плющихе, а маму (старушку уже!), педиатра, оставил жить здесь, на «Спортивной».

Во вторник утром шестого, если не ошибаюсь, марта Лариса позвонила Ивану Ипполитовичу (и он побледнел, чуть не выронил трубку), сказала, что им нужно встретиться. И встретиться срочно, по важному делу. Касается Верочки, Лариной дочери. Иван Ипполитович сглотнул соленый ком, немедленно образовавшийся в том месте под кожей, где нежные кудри бородки редуют и сразу видны даже мелкие пятнышки, сказал, что готов хоть сегодня, хоть даже сейчас, ну, минут через двадцать.

Через полчаса они встретились в ресторане «Колесо времени», чудесно расположенном в Орликовом переулке. Иван Ипполитович подъехал на своем «Мерседесе», а Лариса Генриховна на такси, так что она даже опередила его, поскольку таксист был лихим, а Аксаков – весьма осторожным, спокойным водителем. Ничем не выдал Иван Ипполитович своего волнения, когда приблизился к Ларисе Генриховне и ласково улыбнулся ей, и только когда Лариса Генриховна, подтянувшись на красных лакированных каблучках своих невысоких сапог, поцеловала друга детства в щеку, он крепко зажмурился, словно боялся заплакать.

Грош мне была бы цена, если бы я не воспользовалась случаем и не сказала несколько слов об этом ресторане. Я там не была и, быть может, не буду, но сердце мое говорит, что в старинном, засыпанном снегом, с дворами, в которых качели скрипели от холода, месте не станут кормить всякой дрянью. Возьмите хоть вот «Композицию Сырную». Там этих сыров сразу пять: каммбер, гауда, грюе, чеддер желтый и белый. А может, еще что, всего не упомнишь. А папарделле из лосося? Да чудо! Бекон, запеченный в орехах кешью? А чай из брусники и собственной мяты? Капустный пирог? Но, главное, там было тихо, спокойно. Никто не горланил, не пел, не плясал. И официант был любезен, улыбчив, причесан красиво: с пробором, который его небольшую и славную голову делил на два черных, слегка маслянистых и пахнущих нежным шампунем куска.

– Лариса, тебе здесь удобно? – спросил и откашлялся мягко друг детства. – А то пересядем поближе к окну.

– Нет, Ваня, мне здесь хорошо, – сказала она. – Я здесь не была никогда. Так уютно.

– И кормят отлично. У них запеканки такие, Лариса, что... Да не одни запеканки. Ты кофе?

– Я – да, Ваня, кофе.

– А я буду чай. А что будем есть?

– Ты, Ванечка, знаешь, я есть не хочу. Кусок просто в горло не лезет.

– Лариса! – И он положил свою крепкую руку на правую кисть ее нежной руки, закрыв обручальное сальное золото. – Я знаю, тебе нелегко. Но ты все же, Лариса, взгляни на меню. Например...

И вновь он не выдержал: крепко зажмурился, поймав ее взгляд.

– Да мне все равно, – прошептала она. – Возьми сам, что хочешь.

Официант с косым пробором терпеливо ждал, пока Иван Ипполитович, покашливая и недоуменно приподнимая брови, заказал камчатского краба, запеченного в филадельфийском сыре, салат с желтой свеклой, опят подмосковных с телятиной свежей и белых грибов с той же свежей телятиной, но с фирменным соусом. Чай, кофе уже принесли.

– Я слушаю, Лара, – сказал ей Аксаков.

Лариса Генриховна сразу заплакала, и ее ненакрашенные, карие с голубизной глаза, красивее которых Иван Ипполитович, объездивший мир, ничего не встречал, совсем стали мокрыми.

– Ваня, ты ведь в курсе, что Верочкин отец... Что он, так сказать, человек непростой... И врач его даже сказал мне, что он... Ну, он с отклонениями... Вот. Органическими.

– Я знаю, – вздохнул знаменитый профессор и горько сглотнул под бородкой слюну. – Не трать лишних слов, не терзай себя, Лара.

– Она росла легким спокойным ребенком. Я не смогла уделить ей много внимания, Ваня. Мой грех, разумеется, так получилось. Но мама и папа, да, папа особенно, они, Ваня, сделали все, что могли... И вот мы заметили с мамой сейчас... Она стала просто другой! Совершенно.

– Симптомы? – спросил он, слегка побледнев.

Она перестала смеяться.

Не хочет ни с кем ни о чем говорить. Вот в школу вставать... Мама будит ее, а она говорит: «Не пойду я, отстань!» И что можно сделать? Сидит целый день, ест один шоколад. Теперь стала краситься. А для кого? Накрасится и снова дома сидит.

– Какой-нибудь мальчик? Сосед, может быть?

И оба они покраснели и сникли.

– Да нет там соседа, – шепнула она. – Там турки с болгарами. Лестницу красят.

На вилке Ивана Ипполитовича мелко задрожал подмосковный опенок.

– Лариса, я врач. И я должен сказать, что все эти, Лара, психологи, эти... Весь этот их психоанализ проклятый – одно шарлатанство! Одно! Ты поверь. Вот парня вчера привезли из Читы. Простой совсем парень, баранку крутил. Авария. Бац! Еле выжил. Но выжил. И начал творить чудеса. Увидел на улице стаю волков. Места-то ведь дикие, ссыльные земли, а волки голодные. И говорит: «Взмахнул я рукой, а они-то попятнулись. Взмахнул я опять, а они побежали». К тому же предметы глазами двигает. Посмотрит на чашку, а та – вжжик! – поехала!

– Ты, Ванечка, шутишь? – спросила Лариса.

– Какое там «шутишь»! Я рад бы шутить! Схватили, ко мне привезли. «Чудеса! Профессор Аксаков, вы только подумайте! Ведь это весь мир взбудоражит!» Смотрю. Обычный верзила. Ни «бе» и ни «ме». «Ну что?» – говорю. «Ничего. Христа часто вижу». – «Где видишь?» – «Везде. Вчера в гастрономе, вон, видел». – «Христа?» «А то! – говорит. – Ясно дело: Его». – «И что Он там делал?» – «Что-что? Ничего! Он в кассу платил». – «Ну, давай, – говорю, – подвигай мне что-нибудь». – «Что?» – говорит. – «Что можешь?» – «Да все я могу. Хошь тебя». – «Ну, двигай». Стоит. Красный стал, как арбуз. Глаза побелели. Старался-старался. «Он не в настроении! Очень устал! Москва на него как-то действует плохо!» Ну, это коллеги мои. Им ведь что? Сенсацию бы и народу побольше! Проверили мозг: там одни очаги. Короче, больной человек, шизофреник.

– При чем же здесь Вера?

– Она ни при чем! Я только к тому тебя хотел подвести, – Иван Ипполитович мягко закашлял, – что нужно сначала проверить ей мозг. Сделать эхоэнцефалограмму. Не больно, не трудно. Но по крайней мере можно будет исключить самое неприятное, то есть, Лара, органические изменения ткани, которые, я уверен, к сожалению, присутствуют в тканях твоего... – запнулся и вздрогнул, – отца ее, Верочки.

Белая, как скатерть на ресторанном столике, любимая женщина, ради которой Иван Ипполитович готов был песок целовать при условии, что там отпечаток, на этом песке, ноги ее или хотя бы, краснее, чем кровь, каблучка, любимая женщина грустно молчала.

– Ларочка, – профессор зажмурился, – если бы ты тогда...

– Что «если бы», Ваня?

– Да нет, ничего. Нужно просто обследовать. Все сделаю сам. Безболезненно, быстро. Тогда и решим.

– Хорошо, – она, не сдержавшись, заплакала. – Ваня...

На том разговор их закончился. Официант с косым пробором, удивленно получивший на чай втрое больше положенного, убрал совершенно нетронутое блюдо с телятиной свежей под фирменным соусом, а также и блюдо с опятами.

«Ишь ты! – подумал он бегло. – С морды голодные!»

На следующее утро Лариса Генриховна с дочерью Верой, глаза которой были уже не серебристыми, а черными от злобы и в груди, на том месте, где положено быть чистому и деликатному девичьему сердцу, пылал жаркий уголь все по той же причине, пришли на обследование. Иван Ипполитович, перед которым все расступались, пока он дошел от своего кабинета до приемной, полной пациентов с выкатившимися от изменений в мозговой ткани глазами, с тиками, от которых тела непроизвольно содрогались, с вывернутыми шеями и другими серьезными признаками поразившего их заболевания, поморщился с явной досадой, увидев, что Лара и дочь ее Вера находятся в этой печальной приемной.

– Да как же! Просил ведь: ведите ко мне! Давно вы тут ждете?

– Нет, только пришли.

Лариса смотрела испуганно, а Вера, напротив, с презрительным гневом. Иван Ипполитович хотел было погладить ребенка по голове, но вся голова была в мелких кудрях, покрытых каким-то составом и жестких, а взгляд, полоснувший его по лицу, отнюдь не был детским, приветливым взглядом.

В комнате белокурая медсестра, похожая на голубицу и носом, слегка розоватым, и голосом клеточным, тотчас усадила ее на кушетку и сам Иван Ипполитович, осторожно высвобождая участки кожи между налакированными и мелко завитыми волосами, опутал всю голову Веры железками, которые он проложил снизу ватой, как делают это под елкой с подарками. Он возился над нею и сопел от напряжения и страха сделать ей больно, а она смотрела на его белый халат, на пуговицы, на ниточку, повисшую с воротника, и думала: «Что, если взять и вскочить? Погонится он за ней следом? Конечно. Ведь он же, бедняга, влюблен в ее маму». Она ненавидела всех: и его, и с розовым носом его медсестру, и маму, и бабушку Лину Борисовну. Но больше всего было злобы и ярости в том месте, где прежде сгущалась любовь. Там был Бородин. Ах, не надо про дочку! Болеют и дочери, и внучки болеют! Ведь не умерла же она? Нет, жива. Тогда почему он не смотрит в глаза? За что он ее избегает? И разве она виновата, что дочка болеет?

Ну, пусть избегает, – она поняла бы. Но если бы он хоть бледнел или таял! Была бы надежда, что он что-то чувствует. Но он равнодушен был, хуже моллюска. Он стал незначительной серою частью всего безразличного серого мира и слился с ним так же, как мелкий моллюск сливается с серой морской водою. А кто же стоял тогда на остановке? Смотрел голубыми своими глазами? Чей рот был тогда пересохшим, бескровным?

И кто ей сказал: «Я женюсь на тебе. У нас будут дети». Не он, да? А кто?

Иван Ипполитович, профессор медицины, между тем закончил свой труд и оглядел горбатую, рогатую и колючую Верину голову с таким наслаждением, словно бы это была не головка красавицы школьницы, а зверя, которого кто-то поймал и он теперь жизнь отдает за науку.

– И сколько же мне так ходить, дядя Ваня? – спросила она хладнокровно и кротко.

– До пятницы, – быстро сказал он. – До пятницы.

– Всего-то? – она улыбнулась. – Всего-то?

Усадив их в такси и заметив, что шофер с опаской посмотрел на бледное женственное и злое существо с забинтованной башней на месте головного убора, Иван Ипполитович сунул ему четыре бумажки, и шофер, глаза у которого сразу же стали спокойно-безразличными, умчал его радость, любовь целой жизни, с ребенком, которого он изуродовал. Хотя не надолго, всего лишь до пятницы.

Поддерживая Веру за локоть, Лариса Генриховна вышла из лифта, и тут же они столкнулись с молодым строителем.

Молодого рабочего звали Исламом, родом он был из Турции, и Вера, московская девушка в кофточке белой, давно приглянулась ему, еще осенью. Сейчас, увидев, насколько сильно она изменилась, молодой Ислам не вскрикнул от удивления, и не крикнул, и не ойкнул, как это сделал бы любой интернациональный рабочий на его месте, а, почтительно прижавшись спиной к только что выкрашенной стенке, пропустил их к двери и взглянул прямо в ее опущенные глаза с таким выражением, которое давало понять, что произошедшая в Верином облике перемена не будет влиять на растущее чувство. Вечером он положил на коврик перед квартирой небольшой букет в целлофановой обертке и на открытке, приложенной к нему, написал яркими буквами: «Спасибо!» Согласитесь, что далеко не всякому молодому человеку, хотя и не богатому, но приятной черноволосой наружности иностранцу, выросшему в одной из горных деревушек Анатолии, пришло бы вдруг в голову благодарить чужую семью неизвестно за что. А этот поблагодарил.

Итак: положил он букет и ушел. Через два часа Лина Борисовна высунулась из квартиры, чтобы забрать почту, и тут же наступила жилистой ногой своей на звонко шелкнувший целлофан. Брезгливо высвободив ногу и нервно понюхав цветочки, Лина Борисовна задумалась. Она, конечно, сразу же поняла, что зять Переслени, опять оскорбив чем-то Лару, пытается к ней подлизаться как может, поэтому и преподносит букетец. В таком случае нельзя, чтобы жалкое это подношение увидела дочь. В то же время нельзя было и выбросить цветочки в мусорный бак, поскольку он должен был Ларе сказать, что был, и принес, и страдал, и так далее. Тогда Лара сразу поймет, что к чему, начнет бурно плакать, кричать, чертыхаться, и, главное, вспыхнет опять эта просьба оставить ее вместе с мужем в покое. Воровато оглянувшись, Лина Борисовна, не притрагиваясь к растениям ни одним пальцем, все тою же жилистой крепкой ногой передвинула цветы так, что они оказались лежащими между двумя ковриками: их, чистеньким и аккуратным, и грязным, совсем уж негодным ковром педиаторши. Лежит и лежит: чей букетик, не знаем. Педиаторша, мать Ивана Ипполитовича, отличаясь большим самомнением, должна будет сразу подумать, что это – подарок и знак благодарности ей за чье-то спасенное детство. А чье и когда – совершенно неважно: «Спасала, спасаю и буду спасать. За этим и клятву дала Гиппократу».

Прошло полчаса, и открылась дверь лифта.

Иван Ипполитович раньше обычного покинул свой кабинет, где пахло всегда свежим кофе и елью, поскольку его секретарша старалась, чтобы кабинет был уютным, домашним: варила ему свежий кофе, пекла какие-то темные сладкие коржики, а ель для того, чтобы пахло как дома, всегда приносила и ставила в банку. Не целую ель, разумеется, ветку. Сама была тоже совсем недурна, мечтала бы стать ему не секретаршей, и жизни своей не жалела, пытаясь достичь этой цели, вполне всем понятной.

Иван Ипполитович отменил совещание и поехал к матери на «Спортивную», извиняя свой сумасбродный поступок тем, что давно не навещал родительницу. На самом же деле – для Лары, конечно. Душа его ныла.

На землю спустились холодные сумерки, такие зловещие и беспокойные, как это бывает в конце декабря, когда колкий снег, вдруг посыпавший ночью, слегка забелил купола и растаял, но тот, кто заметил его белизну, был сам тоже странно печален и бледен. Иван Ипполитович ехал, по своему обыкновению, очень осторожно, но думал о чем-то таком, что могло бы – не будь он таким осторожным водителем – закончиться очень тяжелой аварией. Он думал о скудности всякой науки, поскольку вчера, вон, открыли одно, а завтра, глядишь, и другое откроют, и это другое, какое откроют, поставит немедленно то, что открыли вчера или позавчера, под сомнение. Проезжая мимо Новодевичьего, он вдруг вспомнил, как друг его юности Коля Семенов, веселый, красивый, бесхитростный парень, в двадцать шесть лет заболел очень странной болезнью, от которой у человека постепенно отказывают все мышцы и тело становится вялым, как тесто, а Ваня Аксаков, серьезный ученый, лечил всем, чем можно, несчаст-

ного Колю, боролся за Колину жизнь, и как Коля, сначала хрипевший: «Спаси!», постепенно просить перестал, отстранился, весь сжался, и вместе с тем, как изменялось все тело, он сам изменялся душевно и сам как будто сдавал это грешное тело, как пьяница утром сдает с облегчением пустую бутылку из-под «Солнцедара».

Иван Ипполитович твердо держался за руль, губы его были крепко сжаты, а брови нахмурены, но что-то так сильно и грубо дрожало внутри его нёба и горла, как будто пытались сломить его волю и, может быть, даже заставить расплакаться. Он вспомнил сон, увиденный за несколько часов до Колиной смерти. Во сне был большой серый кот, с которого сбрили всю шерсть и собирались усыпить. Иван Ипполитович решил вмешаться, спасти несчастное существо и даже придумал отдать его маме, хотя его мама была равнодушна к животным и птицам, служа только людям. Нужно было внести деньги за спасение кота, а денег не было, и, как это часто бывает в ночных кошмарах, Иван Ипполитович долго метался по пустым улицам в поисках нужной суммы, пока не наткнулся на Колю, здорового, крепкого и молодого, одетого даже с каким-то молодечеством. Оказалось, что Коля давно уже поправился без всякой медицинской помощи и теперь, весело улыбаясь, сообщил приятелю, что поставленный им диагноз был ошибкой. А через несколько часов – Иван Ипполитович запомнил, что утро было дождливым и холодным, вставать не хотелось, – он стоял над кроватью умершего Коли, из груди которого только что вырвалось последнее тихое дыхание, и следил, как меняется его быстро светлеющее лицо. Страх, бывший на нем, весь исчез, и в конце концов оно стало похожим или показалось Аксакову похожим на то, какое он ночью увидел во сне. Вот именно в эту минуту к нему и закралось сомнение в сердце. Иван Ипполитович почувствовал, что если и знать, почему и зачем трепещет последний невидимый атом внутри человека, никто никогда из нас не разгадает, откуда вдруг взялся – спокойный и чистый – на Колином мертвом лице этот свет.

С тех пор прошло много лет и, разумеется, все это потускнело, почти стерлось, но вот почему-то вернулось опять и начало жадно скрестись в его память, как в спальню хозяев скребутся собаки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.